



**Владимир Кутявин, Ольга Леонтьева**

**Лексикон «Идеи в России»:  
опыт интерактивной культурологии**

*(Idei w Rosji. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod redakcją Andrzeja de Lazari, t. 1-5. Warszawa-Łódź 1999-2003)*

Изданный в Варшаве (Т. 1) и в Лодзи под редакцией Анджея де Лазари пятитомный лексикон «Идеи в России» сразу же после своего появления привлек внимание многочисленных рецензентов, часть отзывов которых собрана в третьем и пятом томах самого этого издания. Интерес и самые неоднозначные оценки вызывают энциклопедическое богатство тематики лексикона, состав его авторов и отмеченная знаменитым историком идей Анджеем Валицким «амбициозность замысла», а также сама неортодоксальная форма, в которой представлен материал.

В русской литературной традиции, как, впрочем, и в польской, лексикон обычно не отличают от словаря – «то же, что словарь», объясняет значение слова «лексикон» наиболее популярный словарь русского языка, сопровождая такое лапидарное объяснение пометой «устарелое»<sup>1</sup>. Уступку этой традиции можно найти и в рецензируемом издании: передавая польский текст на русском языке (на английском этого нет), составители

---

<sup>1</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. *Словарь русского языка*. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1995. – С. 316.

иногда сбиваются с «лексикона» на «словарь» [Т. 4, С. IV-X]. Однако все же нельзя не заметить щепетильное отношение к обозначению жанра, т. к. лексикон для составителей – не просто жанровая характеристика, это еще и программа, даже манифест, который можно понять как сознательное стремление уйти от канонизированных форм энциклопедической справочной книги. Прежде всего это ощущается в явном тяготении авторов лексикона к эссе с присущими ему жанровой «раскрепощенностью» и выраженной авторской позицией. Эссе легко узнается и по характерным стилистическим признакам: риторическим вопросам, многоточию, оговоркам типа «если их содержание представлено правильно» [Т. 2, С. 130] и т. п. Все это несовместимо с традиционным словарем, от которого ждут, как правило, однозначных, логически исчерпывающих характеристик. Жесткость определений в ущерб многозначности – не для составителей лексикона, и эссе позволяет не только представить многомерный смысл тех понятий, которые берутся объяснить авторы, но и сохранить, насколько это возможно, ту самую не-до-конца-договоренность, которая и порождает бесконечные смыслы.

Эссеистика обычно немислима без публицистичности, которая также чувствуется в большинстве статей лексикона: споры даже о средневековых явлениях и персонажах перебиваются спором сегодняшним, а в давних литературных и исторических героях авторы почти всегда стремятся разглядеть современные социальные типы. Правда, академическая выучка и литературный вкус чаще всего (исключения редки) убегают авторов от слишком громкой, а потому особенно эфемерной публицистичности.

Сочетание «толковый лексикон» очень неорганично для сложившейся традиции, однако лексикон, каким бы он ни был по своей направленности, должен быть «толковым» в прямом смысле слова, то есть полезным, и любой из нас вместе с героем Станислава Лема с негодованием отбросил бы такой лексикон, где «сепульки» определяются через «сепулятор», «сепулятор»

через «сепуление», а статья про «сепуление» снова отсылает читателя к «сепулькам».

С другой стороны, пользование словарем (лексиконом) всегда предполагает некое соучастие со стороны читателя, в чьей власти – выбор статей для прочтения. Именно это свойство словарей великолепно обыграл Милорад Павич в культовой книге последнего десятилетия: «Одни, как в любом словаре, будут искать имя или слово, которое интересует их в данный момент, другие могут считать этот словарь книгой, которую можно прочитать в один присест... Книгу можно читать справа налево и слева направо... можно читать в том порядке, который придет на ум читателю, например, начав с той страницы, на которой словарь откроется», можно «перетасовывать и переключать страницы бесчисленными способами, как кубик Рубика. Никакая хронология здесь и не должна соблюдаться, она не нужна. Каждый читатель сам сложит свою книгу в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому что от истины... нельзя получить больше, чем вы в нее вложили»<sup>2</sup>.

Итак, налицо явная двойственность исходной задачи. Лексикон, предназначенный по существу своему быть собранием определений, в то же самое время приглашает нас к читательскому соучастию, и авторы «Идей в России» усиливают эту двойственность, идут по пути нарушения канонов жанра «справочной книги», превращая свое издание в явление современной культуры с ее модой на интерактивность.

**Панорама и мозаика.** Лексикон «Идеи в России» отличается энциклопедическим характером и разнообразием тематики: он, по сути дела, содержит в себе несколько лексиконов со своей проблематикой и собственным набором исследовательских задач.

---

<sup>2</sup> Павич М. *Хазарский словарь*: Роман-лексикон в 100 000 слов. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 22-23.

Один из самых обширных и интересных тематических блоков лексикона повествует о тех значениях, которые получили в России фундаментальные категории культурной антропологии: «дорога/путь», «жертва», «красота», «прошлое – настоящее – будущее», «свобода», «смерть» и т. д. (это направление лексикона, бесспорно, заслуживает более обстоятельного анализа, который будет представлен ниже). Отдельную группу составляют статьи о религиозной мысли в России; в них отражена не только православная традиция или классика русской религиозной философии, но и история русских сект и религиозных движений – бегунов, духоборов, субботников, шалопутов и др. Нетрадиционным выбором имен и проблематики отличаются статьи, посвященные литературе и литературоведению в России: здесь можно отыскать совершенно неожиданные сюжеты вроде «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты» или «Скандославии»; щедро представлены в лексиконе разнообразные направления политической и социальной мысли в России от князя Курбского и Ивана Грозного до А. Амальрика и А. Проханова. Особый слой лексикона составляют, наконец, термины политологии в их специфически русском преломлении – «диктатура пролетариата», «тоталитаризм», «фаворитизм», «бюрократия», – или трудно поддающиеся адекватному переводу термины политического арго советских лет: «враг народа», «мещанство», «оттепель», «самиздат».

И в этом лабиринте тем, имен, понятий поначалу непросто ориентироваться самостоятельно; составители легко идут на нарушение даже таких, казалось бы, незыблемых канонов словарного жанра, как алфавитный порядок собрания статей: каждый том лексикона содержит статьи, заглавия которых начинаются на все буквы алфавита от «А» до «Я». Поэтому практически невозможно предсказать, в каком именно томе отыщется статья «Народность», а в каком – «Народничество», в каком томе читатель сможет прочесть статью «Личность», а в каком – «Лик/Лицо/Личина». Составители отказались и от тематического распределения материала: на страницах одного

и того же тома чередуются статьи «Педагогика сотрудничества», «Герб России», «Чистилище», «Зиновьев», «Лесков», «Кротость», «Декабристы», «Эсхатология Руси»... Этот эффект необъятной панорамы, превращающейся при ближайшем рассмотрении в мозаичную картинку, создает известные неудобства для читателя, однако отказ от формальных принципов структурирования материала становится приглашением самостоятельно сложить разбросанные кусочки головоломки.

**Полифония.** Уже отмечена другая, столь же нетривиальная черта лексикона «Идеи в России», состоящая в том, что его авторы и составители решительно отказались от однозначности определений и трактовок. Лексикон, замечает В. Щукин, один из авторов и первых рецензентов, «изначально был задуман как книга полифоническая, составленная из статей, авторы которых придерживаются разных, порою противоположных воззрений и разных методологических подходов» [Т. 3, С. 8]; этот принцип становится наглядным до выпуклости в тех случаях, когда на страницах лексикона мы находим две или три статьи разных авторов, трактующих смысл одного и того же понятия. Так, удачно дополняют друг друга помещенные в третьем томе две статьи на тему «Богочеловечество», посвященные двум разным аспектам данной темы: в одной из них речь идет о теме Богочеловеческой природы Иисуса Христа в православном богословии (автор этой статьи – Шимон Романчук); автор другой статьи – Константин Исупов – повествует о мифологеме Богочеловечества как сакрального смысла истории в русской религиозно-философской традиции от Вл. Соловьева до Н. А. Бердяева. Стереоскопический эффект видения одной и той же проблемы создают и три статьи о Достоевском, помещенные в четвертом томе: если Хенрык Папроцки исследует антропологию Достоевского, то Анджей де Лазари избирает тему его почвеннических идеалов, а Константин Исупов обращается к «энциклопедии хронотопов», воплощенной в его романах. Наконец, анализ концепта «свобода» представлен в пяти статьях, раскрывающих смысл этой категории «в соотношении с рядом ключевых для русской

мысли понятий»: «свобода и “воля”», «свобода и революция», «свобода и соборность» [Т. 5, С. 346-359].

Признавая бесспорную плодотворность такого подхода, нельзя с некоторым сожалением не отметить недостаточную последовательность в его реализации. Наилучшие результаты мог бы принести диалог из реально накопившихся взаимных мыслей – диалог, в котором представлены как «внутренний» (т. е. обусловленный русской культурной «закодированностью»), так и «внешний» взгляды на предмет. Между тем, во многих статьях остро ощущается отсутствие какого-то из этих двух основных измерений. Достаточно конструктивным, как показывают некоторые статьи лексикона, остается и междисциплинарный подход, т. е. сопоставление суждений, обусловленных «закодированностью» профессиональной. Не приходится забывать, что дисциплины гуманитарного комплекса всегда находятся в разных фазах развития, а потому междисциплинарный полилог был бы полезен как для понимания предмета, так и для развития самих дисциплин.

Обращает на себя внимание и тот факт, что статьи лексикона, посвященные персоналиям русских мыслителей, не содержат их жизнеописаний. Это явно соответствует общему замыслу лексикона: составители сознательно смещают фокус внимания с биографических фактов, которые достаточно однозначны (родился тогда-то – учился там-то – умер тогда-то), на высказанные русскими мыслителями идеи, по существу своему поддающиеся различным интерпретациям и порождающие разные прочтения.

Итак, мозаичность и полифоничность – вот два исходных принципа, проявляющихся и в самой архитектонике лексикона, и в его содержании.

**Проблема перевода.** Наиболее трудная и интересная из тех задач, которые пытается разрешить лексикон «Идеи в России», – задача перевода. Речь идет, прежде всего, о переводе в прямом, конкретном смысле этого слова. Лексикон издан на трех языках: русском – языке той страны, о культуре которой идет речь; польском – родном языке инициаторов и большин-

ства участников издания – и английском, универсальном языке международного общения в современном мире. Соответственно выбрана уникальная форма представления материала. На каждом развороте двух страниц мы видим четыре столбца: идентичные друг другу параллельные тексты статей на русском, польском и английском языках и библиографическую колонку, которая по понятным причинам в основном содержит материалы на русском языке. Читателю предоставляется возможность знакомиться с текстом статей на любом доступном ему языке или черпать лингвистическое и культурологическое удовольствие в сопоставлении текстов на трех языках.

Иногда, правда, это удовольствие отравляет наличие досадных погрешностей: перевод и корректура издания, особенно первых томов, не всегда отличаются необходимой для столь тонкой работы тщательностью. В некоторых русскоязычных статьях явно слышится иностранный акцент: «энклав» [Т. 2, С. 292], «спектакулярный» [Т. 3, С. 264] или «Старый Завет» [Т. 2, С. 116], и уж вовсе комический эффект вызывает «Агар, горничная жены Авраама» [Т. 3, С. 378]. Переводы с русского языка на польский также нередко пренебрегают оттенками смысла: «*tewolucyjny*» не вполне передает специфическое значение слова «революционаристский» [Т. 5, С. 66] и т. д. Одним словом, для упражнений педантов в текстах возможностей предостаточно.

Не притязая на столь изысканный статус, ограничимся еще одним примером не очень удачного перевода. В выбранной наугад статье «опричнина», русскую и польскую версии которой написал известный краковский исследователь Юзеф Смага, в польском тексте читаем: «*liczne zmiany metropolity i morderstwa duchownych*» («частая смена митрополитов и убийства представителей духовенства»). По-русски этот же пассаж передан иначе: «частая смена митрополитов, убийства некоторых из них» [Т. 5, С. 220]. Если вспомнить, что в период опричнины был казнен только митрополит Филипп (уже после отречения), то утверждение «некоторые» становится равнозначным фактической ошибке. При переиздании

лексикона – целиком или в любой из языковых версий – было бы полезно дополнительное редактирование текстов.

Конечно, переводы текстов лексикона задуманы как нечто несравненно большее, чем добросовестные подстрочники. Авторы «Идей в России» предприняли попытку перевести на польский и английский языки не просто термины, а фундаментальные, основополагающие категории русской культуры, чтобы избежать поверхностного и искаженного их понимания. По словам самих составителей лексикона, «изучая другие культуры, часто, не определив дефиницию, мы употребляем понятия и категории, значение которых в сознании нашей культуры закрепилось иначе, чем в изучаемой, или наоборот – делаем кальку понятия, не задумываясь над тем, что в нашей культуре они обозначают что-то другое. Мы ведем разговор, который не является диалогом, так как понимаем лишь себя, забывая о собеседнике» [Т. 2, С. 6]. Путь к пониманию русской мысли, с точки зрения создателей лексикона, лежит через погружение в культурно-цивилизационный контекст.

«Слова-ключи, слова-знаки, слова-мифы, обозначающие гораздо больше самих слов» [Т. 2, С. 6-8], – вот основная, стержневая тема издания «Идей в России». На его страницах находится место и фундаментальным категориям русской культуры («бунт», «воля», «земля/почва», «подвижничество», «правда/истина», «святость», «смута», «соборность», «странничество», «юродство»), и ключевым образам русской литературы («лишние люди», «маленький человек», «обломовщина»), и расхожим – на первый взгляд, «интуристовским» – символам России («балалайка», «водка», «икона», «топор»). И здесь возникает возможность раскрыть в этих словах, стершихся от частого автоматического употребления, дополнительные пласты значений. На страницах лексикона мы читаем, например, что «дорога» – это просто технический способ достижения пространственной цели, а «путь» – жизненное странствие, ведущее к преображению героя [Т. 3, С. 130-133] (чтобы убедиться в точности этого наблюдения Ежи Фарыно, доста-

точно сравнить значение слов «бездорожье» и «беспутство»); что на ментальной карте русской мысли «Азия» ассоциируется с пассивностью и деспотизмом, а «Восток» в то же самое время предстает как колыбель духовных ценностей и исток чаемого культурного возрождения [Т. 2, С. 64]; что слово «чин» и связанное с ним понятие «чиновник» не имеет точного соответствия ни в одном западноевропейском языке, поскольку связано с идеей тотальной регламентации личной жизни [Т. 4, С. 566-568]; что, наконец, пьянство и особенно питье водки выступает в русской культуре как «условие духовного подъема и решения экзистенциальных вопросов» и одновременно как способ отличать своих от чужих [Т. 4, С. 466-468].

Недаром сам термин «словарь» или «лексикон» имеет второе значение – «совокупность всех слов какого-нибудь языка, а также слов, употребленных в каком-нибудь одном произведении или в произведениях какого-нибудь писателя»<sup>3</sup>; перед нами попытка реконструировать целостный лексикон русской культуры, «выучить язык», на котором можно было бы затем читать тексты, созданные русскими мыслителями, и понимать их содержание глубже и точнее, чем прежде.

Избранная издателями форма – представление текстов статей на трех языках параллельными колонками – позволяет наглядно продемонстрировать специфические трудности перевода категорий культуры. Тексты на разных языках не всегда оказываются полностью идентичными по смысловой нагрузке. Так, в русском варианте статьи, где исследуется оппозиция «Духовный/Душевный», обыгрывается внешнее созвучие этих двух слов при глубинном различии их смысла [Т. 2, С. 128-133]. По-польски та же оппозиция выглядит как *Duchowy/Serdeczny*, по-английски – как *Spiritual/Soulful*; теряется созвучие, а следовательно, выявленные нюансы смысловых различий между «духом» и «душой» уже не выглядят столь тонкими.

---

<sup>3</sup> Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. *Цит. соч.* – С. 316, 719.

Некоторые термины оказываются непереводаемыми буквально на язык другой культуры: так происходит с ярким термином «Димитриада», обозначающим авантюры трех самозванцев начала XVII века. «Термин „Димитриада“ выступает главным образом в польской историографии, реже в западноевропейской, – пишет Анджей Андрусевич, – в русской его заменяет определение „великая смута“» [Т. 3, С. 126-129]. Едва ли тут можно говорить о «замене» терминов; очевидно, что перед нами не просто два разных определения, но два разных способа ставить смысловые ударения, рассказывая об одних и тех же событиях. Произнося слово «Димитриада», мы выдвигаем на первый план исторического повествования происхождения его персонажей; произнося «смута» (*wielka smuta, the Times of Troubles*), имеем в виду некую общенародную беду, вселенскую трагедию, характеристику времени, а не личностей. Термин «Димитриада» уместен, если представлять ход истории зависящим от человеческих поступков, интересов и авантур; термин «смута» – если считать историю и людские судьбы игральным стихийных, сверхчеловеческих сил. Совершенно необходимым тут был бы внутренний, то есть «русский» взгляд на исключительно важную эпоху российской жизни. Знакомство со статьей «смута» лишь усиливает это ощущение, т. к. С. Мазурек утверждает здесь, что польская интервенция была «самым важным событием смуты» [Т. 2, С. 308]. На наш взгляд, в таком суждении очевидны элементы этноцентризма. А какое событие смуты назвал бы важнейшим, например, шведский автор?

Подобные семантические, а иногда и сущностные несовпадения, безусловно, являются имманентной трудностью переводческой работы, тем более если объектом перевода является научный текст гуманитарной направленности. Трудность эта многократно возрастает, если учесть, что ученый человек всегда имеет богатые (в том числе собственные) ассоциации, и авторские трактовки не всегда совпадают с привычным значением слов.

Трехязычие данного лексикона дает нам еще и возможность наблюдать интересный эффект семантических перекрестков. В статье «Судьба» на русском языке мы читаем следующий текст: «Несмотря на то, что обычно русское слово „судьба“ переводится польским *los*, это два принципиально разных понятия. Судьба не содержит в себе случайности, совпадения обстоятельств и риска, *los*, в свою очередь, не связан с понятием „судить“, „предрешать“». Затем тот же текст воспроизводится по-польски: *Jakkolwiek ros. sud'ba zwyczajowo oddajemy polskim „los“, są to dwa zasadniczo różne koncepty. Sud'ba nie zawiera w sobie przypadku, trafu, ryzyka, tak jak „los“ nie wiąże się ze znaczeniem „sądzić, przesądzać“*, и, наконец, по-английски: *Even though the Russian term sud'ba is customarily rendered into English as „fate“, these are two basically different concepts. Sud'ba does not contain within itself chance, coincidence, risk, just as „fate“ is not connected with the meaning to „judge“, to „judge beforehand“* [Т. 3, С. 460-461]. Польское *los* и английское *fate* предстают здесь как термины, идентичные по своему содержанию и в равной степени противостоящие русскому «судьба» – но насколько верно это?

На нелегком пути к взаимному пониманию культур попытка перевести на иной язык толкование отдельных категорий, сохранив многообразие их семантических оттенков, – лишь первый шаг. Второй шаг, предпринятый авторами лексикона, заключается в том, чтобы реконструировать язык, слагающийся из этих слов-ключей, слов-мифов, чтобы выстроить модель мира русской культуры.

**Языки русской культуры.** Стержневым для замысла всего издания представляется цикл статей Ежи Фарыно о языках – русском, церковнославянском, литургическом, греческом/эллинистическом, латинском, помещенный во втором томе. Согласно убеждению автора, каждому языку, функционировавшему в пространстве средневековой русской культуры до XVIII века, был присущ свой семиотический статус, каждый язык описывал свой особый мир; поэтому за явлением диглоссии (двухязычия) крылось двоемирие или двоеверие, тревожный показатель культурного раскола. Так, церковнославянский язык вос-

принимался на Руси как богооткровенный, предназначенный исключительно для описания сакральных явлений и исключаяющий ложь; то была «икона языка», на котором не говорят и не пишут, только читают. Бытовой русский язык предназначался для описания повседневных, греховных явлений; латинский воспринимался как диавольский, богопротивный; греческий же изменял свой статус с «богооткровенного» до «еретического» в зависимости от решения вопроса о «третьем Риме».

Заметим, что, продолжив логику Е. Фарыно, можно было бы проследить явление диглоссии и в русской культуре Нового времени – на примере французского, который в течение полутора столетий был даже не вторым, а первым, «материнским» языком для дворянской элиты, превратившись тем самым в показатель высоты социального статуса, в символ космополитизма элиты и взаимного культурного отчуждения «верхов» и «низов». О ценностном характере семиотического разрыва между русским и французским языками в культуре XIX века можно судить по такому признаку. Частые для русской литературы ироничные описания лакеев и всевозможных выскочек-парвеню, самодовольно вворачивающих в свою речь искаженные французские словечки, – это нечто более серьезное, чем фарсовые насмешки над «мещанами во дворянстве». Для расколотой, двуязычной русской культуры XIX века человек, дурно говорящий по-французски и, тем не менее, активно пользующийся этим языком, – это человек, застрявший между двумя мирами, утративший свой подлинный, бытийный статус; употребление искаженного французского языка призвано было сигнализировать о глубинной, внутренней порче человеческой души.

«Языки культуры» в том смысле, который вкладывают в это понятие авторы лексикона, – это не только языки устной и письменной речи. Видное место в лексиконе занимают статьи, посвященные воссозданию семиотических систем (например, геральдической эмблематики России и СССР), воображенных сообществ («народ», «община», «империя», «советский народ») и воображенной географии (на этой ментальной карте

есть место и для «Москвы – Нового Иерусалима и Третьего Рима», и для «Америки», и для «Китежа»), а также поступков («доносительство») и поведенческих схем («пьянство»).

Эти семиотические системы и ментальные конструкты русской мысли воспринимаются исследователями как особое, замкнутое культурное пространство, которое преломляет и трансформирует все, что пересекает его границу. При трансляции в Россию традиций западной мысли – чему посвящен цикл статей «Байрон в России», «Вольф в России», «Гегель в России», «Ницше в России», «Фрейд в России» – на первый план выходят такие темы и обертона, о которых подчас не подозревали сами европейские властители дум. Древнейшие универсальные символы – звезда, солнце, меч, красный цвет – «ресемантизируются» в соответствии с идеологическими требованиями коммунистической системы; «Эдип», «Гамлет и Дон-Кихот» превращаются в персонажей русской литературы, а «сфинкс» становится поэтическим символом России... Во всех этих случаях проблема перевода с языка одной культуры на язык другой переплетается с проблемой культурной трансляции, интерпретации, которая поднимается до уровня самостоятельного творчества.

**Модели русской культуры.** Для реконструкции сложной полифонической партитуры лексикона читатель должен прибегнуть к еще одному способу чтения: «перетасовывать страницы», выбирая статьи, принадлежащие перу одного и того же исследователя. При таком способе группировки материала становится ясно, что авторы статей строят совершенно несхожие картины и модели русской культуры – даже в случаях, когда их очерки посвящены раскрытию смысла одних и тех же или же лексически родственных терминов.

Так, православный архиепископ Лодзи Шимон Романчук воссоздает целостный православно-религиозный мир, пронизанный благодатью и сияющий божественной любовью; его перу принадлежат написанные рафинированным языком статьи, раскрывающие смысл таких категорий, как «жертва»,

«крест», «кротость», «молитва», «святость», «сострадание», «страдание», «целомудрие», «чистота».

Ежи Фарыно, автор больших циклов статей о языках русской культуры и о семиосфере русской эмблематики, склонен воспринимать русскую культуру через бинарные оппозиции, дилеммы: «духовный – душевный», «свой – чужой», «прошлое – настоящее», «внешнее – внутреннее». Он зачастую описывает эту культуру в терминах раскола (на «интеллигенцию» и «народ», «город» и «деревню», «внешнее» и «внутреннее», «духовное» и «рациональное» и т. д.) и в терминах отсутствия: «настоящее» время характеризуется в его статье как «зажатое между двумя утопиями» – прошлым и будущим – и потому неприспособленное для жизни. Сходной методологии придерживаются и многие другие авторы лексикона: на бинарности как важнейшей характеристике русской ментальности настаивают, например, В. Шукин и И. Есаулов. Статьи последнего «Чистилище» и «Христоцентризм» во втором томе представляют собой классический образец «описания через отсутствие»: бинарная ментальность, исключая промежуточные решения, характеризуется через отсутствие чистилища в православном богословии, а христоцентризм русской литературы – через недостаток в ней «хороших» героев, поскольку «в сознании автора всегда присутствует „наилучший“» [Т. 2, С. 380-383; 386-387]. В основе своей подход названных авторов, безусловно, восходит к знаменитому эссе Н. А. Бердяева «Душа России» с его блистательными антиномиями («и колеблется русский человек между началом звериным и ангельским, мимо начала человеческого»)<sup>4</sup>, а из наших современников заставляет вспомнить А. С. Ахиезера, для которого ключевой образ русской культуры – маятник инверсии, неспособный остановиться в средней точке и обреченный вечно совершать качания

---

<sup>4</sup> Бердяев Н. А. *Судьба России*. – Москва, 1990. – С. 78. Об историософии Бердяева и антиномичности как одной из ее структурных характеристик см.: Ивонина О. И. *Время свободы. Проблема направленности истории в христианской исторической мысли России XIX – сер. XX вв.* – Новосибирск, 2000; Леонтьева О. Б. *Николай Александрович Бердяев: В поисках смысла истории*. – Самара, 1998.

между двумя крайностями согласно принципу «исключенного третьего»<sup>5</sup>. Вспоминаются также синтезные построения В. Д. Жигунина, обладавшего редким даром понимания фундаментальных философско-исторических и цивилизационных категорий в их предельном выражении<sup>6</sup>.

Наконец, один из самых убедительных и запоминающихся образов русской культуры воссоздан на страницах словаря К. Исуповым. Для К. Исупова центральной категорией русской культуры от Андрея Рублева до народников является «Правда», которая по существу своему сакральна, апофатична и может быть высказана только ценой жизни [Т. 4, С. 442-449]; с этой категорией коррелирует представление о «сущности», которая может быть только «скрытой, неприметной», а будучи выраженной и высказанной, не входит в культуру, но исчезает в момент взрыва-катарсиса [Т. 4, С. 486-491]. Именно поэтому, согласно К. Исупову, основой русской антропологии является «жертва», главным императивом русской литературы – «страдание», а «философия» в России превращается в «тип творческого поведения», в «исторический подвиг», в «практику приоритетного слова (т. е. такого, которое в первый раз говорит последнюю правду), бесстрашно и по-юродски бесстыдного, звучащего неуместно посреди изолгавшегося мира» [Т. 5, С. 328-345]. Следует заметить, что К. Исупов предпочитает бинарному пониманию русской культуры принцип триады: в человеческом «я» выделяются «Лик/Лицо/Личина», в мироздании – мир сакральный, мир земной, человеческий, и мир греховный, ложный [Т. 5, С. 136-145].

Но чем более глобальными и всеобъемлющими становятся модели русской культуры, воссозданные на страницах «Идей в

---

<sup>5</sup> См. статьи «Инверсия», «Инверсионная ловушка», «Коса инверсии», «Медиационная задача», «Медиация», «Антимедиация», «Срединная культура» в другом словаре – «опыте социокультурного словаря-монографии»: Ахиезер А. С. *Россия: критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России)*. – В 2 т. – Т. 2: *Теория и методология: Словарь*. – Новосибирск, 1998. – С. 76-77, 194-199, 236-237, 268-273, 488.

<sup>6</sup> Жигунин В. Д. *Древность и современность. Человечество на пути к синтезу*. – Казань, 2000.

России», тем в большей степени мы вступаем в сферу этностереотипов, отраженных зеркал и перевернутых изображений. Реконструкция смысловых горизонтов иной культуры – задача не из легких: где гарантия, что верно интерпретируешь смысл иной культуры, а не навязываешь ей свой?.. Согласно прощательному замечанию Анджея Валицкого, чтобы такой лексикон мог быть создан, нужна важнейшая предпосылка – вера в существование «специфически русской, культурно детерминированной ментальности, подчеркивающей сущностную “инаковость” России по отношению к Европе и тем самым выносящей Россию за пределы Европы как особую, качественно иную цивилизацию» [Т. 3, С. 7]. Ключевой вопрос в таком случае состоит в том, с какими «идеями в России» мы встречаемся на страницах словаря: с мифами самой русской культуры или с мифами исследователей о ней?

Как ни парадоксально, наибольшее читательское разочарование вызывают статьи, помещенные в последнем, пятом томе лексикона и предназначенные вроде бы для того, чтобы дать долгожданное определение сущности «русскости»: «Идея русская», «Россия», «Россия-Сфинкс», «Святая Русь». Появление таких статей, вне зависимости от глубины и мастерства исполнения каждой из них, на наш взгляд, выглядит неоправданным недоверием читателю и диссонирует с замыслом лексикона, построенного в расчете на творческое прочтение. Из всего его содержания следует, что не существует однозначно интерпретируемой «русской идеи» – есть лишь бесконечно разнообразные «идеи в России» и «идеи о России». Понять, что такое «Россия», можно, лишь прочитав все статьи лексикона и всю рекомендуемую библиографию, а не подсмотрев ответ «в конце учебника».

По сути дела, уникальность лексикона «Идеи в России», заслуга его авторов и составителей – в том, что из предложенных фрагментов мозаики каждый читатель в состоянии создать свой собственный вариант русской идеи или универсального мифа о русской культуре. Энциклопедически не всегда безупречный, неполный (полнота здесь в принципе недости-

жима), но свободный и вполне гуманистический текст лексикона становится источником многослойных исторических и культурологических ассоциаций. Чтение, таким образом, превращается в интерактивный процесс, полифоничность представленных точек зрения побуждает к рефлексии и к переосмыслению стереотипов.